

ЧАСОВЫЕ ЛЮБВИ

*Всё это было, было, было.
Свершился дней круговорот.
Какая ложь, какая сила
тебя, прошедшее, вернёт?*
А.Блок



Под балконом – берёза, вяз, акация, каштан. Каким-то внутренним непреложным знанием знаю, что это они, мои самые дорогие. Каштан – отец. Он долго оставался зелёным, до глубокой осени, потом чуть пожелтел, но всё равно оставался красивым, свежим, каким-то гордым, вернее, горделивым. Он твёрже других деревьев, и мне обычно дольше приходилось ждать, чтобы он махнул мне веткой, хоть чуть-чуть. Слабо подрагивал самыми кончиками, но всё-таки отвечал мне, кивал. Иногда долго-долго стояла под ним, задрав голову, ждала его приветов, не в силах без него уйти. Дворник Ваня как-то проследил мой взгляд: «Что ты туда смотришь? Что там увидела?» Разве ответишь.



Акация рядом. Это мамочка. Такая же чахленькая, слабенькая, как в последние годы. Раньше всех облетела. Одни веточки-косточки. Всё вспоминаю её сухенькие ручки, цеплявшиеся за мои пальцы. Каждый день выхожу на балкон и – к ней. И она сразу обрадованно трепещет всеми веточками, кисточками, всем, что на ней есть. Словно волнуется, тревожится. Я почти слышу, что она мне шепчет: «Осторожно, не простудись, не ходи поздно. Как ты, доченька? Как себя чувствуешь? Что ты кушала? Как спала?»

И я мысленно ей отвечаю: «Все хорошо, мамочка, не беспокойся, не волнуйся, всё нормально у меня. Оградку тебе поставили, памятник, могилку с Давидом убрали, цветы красивые тебе принесли. Потерпи ещё, родная. Я здесь, я с тобой. А когда-нибудь совсем буду с тобой».



Рядом с мамой-акацией – Лёвка, вяз. Он почти цепляется за неё ветками. Немножко поломанный после бури – после поезда. Ветка обломанная висит плетью, как тогда – искалеченная кисть руки. Но зелёный, даже сейчас, в середине ноября, когда все деревья уже облетели. А он и не думает. Зелёный, как весной. Ну да, он же молодой. Ему навсегда двадцать один. Он ещё не успел пожелтеть.

Рядом с ним бабушка – берёза. Ближе всех к нему, накрывает его сверху ветками, словно укрыть хочет. Не смогла, не укрыла от судьбы. Красавица. Такая же, как в молодости – на единственной уцелевшей карточке. Ничего-то я про тебя не знаю, не успела узнать. Пропала твоя красота, не пригодилась в жизни. А вот сейчас расцвела под моим окном, словно напоследок – побыть ещё молодой, ты так мало могла этим насладиться. Такая трудная жизнь была у тебя и у мамы.

Как я вас всех люблю, милые мои. Как меня тянет к вам. Вот бы опять встретиться всем вместе. Какое невозможное счастье.

«Отсутствие моё //большой дыры в пейзаже// не сделало», – писал Бродский. А у меня, наоборот, пейзаж заселён душами любимых. Они словно материализовались в этих деревьях, стоящих под окнами, тянущихся ко мне своими ветками-руками, охраняющих меня и днём, и ночью... от чего? От жизни без них. Мои ангелы-хранители. Мои часовые. Часовые любви.



Гораздо ближе христианской веры мне пантеизм – философское учение, отождествляющее Бога с природой, рассматривающее природу как воплощение Божества. Я впитала это в себя со строчками Заболоцкого («Можжевеловый куст, можжевеловый куст, остывающий лепет изменчивых уст...») «Кто мне откликнулся в чаще лесной? Утром и вечером, в холод и зной, вечно мне слышится отзвук невнятный, словно дыханье любви необъятной...»). И у Окуджавы

вместо слова «Бог» в песнях и стихах, как правило, стоит слово «природа»: «У природы на губах коварная улыбка», «как умел так и жил, а безгрешных не знает природа». Какие проникновенные строки: «Ель моя, ель, словно Спас на крови, твой силуэт отдалённый...». Или вот это:

Красный клён, в твоей обители
нет скорбящих никого.
Разгляди среди всех и выдели
мать сына моего.

Красный клён, рукой божественной,
захиревшей на Руси,
приголубь нас с этой женщиной,
защити нас и спаси.



Клён – как олицетворение Высшей силы, творящей миропорядок. Вспоминаются сказки Андерсена: живые души птиц, растений, предметов. Сказки Метерлинка: душа сахара, воды...

Как всё не случайно в мире, как всё взаимосвязано. Самый первый фильм, который я посмотрела в детстве по телевизору, назывался «Поющее и звенящее деревце». Это было в начале 60-х. Какая-то сказка. Уже ничего не помню, только это чарующее название и ощущение таинства, волшебства.



Первый мой приход в литобъединение на 3-й Дачной. Его руководитель Юрий Николаевич Очкин даёт нам первое домашнее задание: «Опишите дерево. Но это должно быть только ваше дерево, ни на кого не похожее». Помню, как я искала такое дерево – особенное, непохожее, но все деревья мне казались тогда одинаковыми, как маленькому Принцу – все розы, пока он не приручил одну из них, как лисёнка. Я только теперь понимаю, что это такое: своё дерево.



Белые ветви сплетаются, множатся,
я их разнять не могу.
Тонкие кольца берёзовой кожицы
слабо блестят на снегу.

Сердцем своим различаю любовно я –
зря ли судьба нас свела? –
что-то щемящее, близкое, кровное
в тонком рисунке ствола.
Вновь прочитаю легко и растерянно
я на странице земной
тайную родственность белого дерева
с почвою, с небом, со мной.

Это Татьяна Кузовлева. И Борис Чичибабин: «Я к жизни
возвращён обыденным добром: деревьями земли и облаками неба».

Берёза, вяз, акация, каштан,
от чёрных бездн дарящие отсрочку.
Какой порядок был им Богом дан –
в таком порядке и сложились в строчку.

Это из моих стихов 2005-го года. А вот этим летом моей акации не стало. Её срубили работники ТСЖ. Зачем? Чем она им помешала? Можно только гадать. Видимо, показалось с пьяных глаз, что это сухое дерево. Она позднее других зацвела, не в апреле, а к концу мая. План по «благоустройству двора» был выполнен, галочка в журнал занесена. Вандалы, дебилы, палачи... Длинный список подобных слов был мной выкричан в трубку, да что толку. Акацию не вернёшь.

Как это произошло? Было холодно, окна наглухо закрыты. Но что-то доносилось извне: какое-то щёлканье. Давид сказал: «Слышишь? Как будто стреляют где-то». Я в это время записывала плёнку, отмахнулась: пусть их стреляют. Как сердце ничего не подсказало? Если бы балкон был открыт, я бы увидела, я бы костями легла, не дала бы, заплатила, умолила, подняла шум, что угодно... Но было холодно, окна законопачены, балкон закрыт. Дерево упало, как подкошенное, как подстреленное, прямо в кузов машины, и его увезли. А я ничего не знала. Вышла вечером гулять с Линдой, прошла мимо, ничего не заметив. А возвращаясь, увидела на детской площадке грудку срубленных веток. Какое-то нехорошее предчувствие сжало сердце. «Не может быть!» – пронеслось в голове. Я медленно-медленно переводила взгляд от кучи веток к месту моей акации, боясь увидеть подтверждение страшной догадки. «Нет, это не его, это другое», – мысленно уговаривала я себя. И взгляд наконец уперся в то место, где была она. Там зиял обрубок, свежесрезанный пень. У меня потемнело в глазах. Я, не помня себя, бросилась к дворнику: «Что это?! Кто посмел? Оно же было живое!» «Оно сухое было!» – зашепелявил этот придурок. Что с него взять. Я как в лихорадке бегала по подъезду, звонила в квартиры, вопрошала, возмущалась, грозила возмездием, взывала к совести. Мне вяло поддакивали, кисло

удивлялись беспределу, но в общем-то всем было глубоко плевать.

Ночью я не спала. Лежала на спине, а слёзы текли по щекам и заливались в уши. Полные уши слёз. Я их даже не вытирала – так было больно, не до того. Вдруг посреди ночи пронзила мысль: ветки! Взять хотя бы одну веточку, спасти, может быть, посадить, возродить... Я кинулась к окну – было ещё темно, ничего не видно, надо ждать. Каждый час выглядывала – когда же просветлеет? Три часа – темно. Четыре – темно. А потом я нечаянно заснула. Проснулась уже в девять. В ужасе бросилась на балкон: так и есть! Ветки увезли вместе с мусором. Но тут Давид взял меня за руку и торжественно повёл на кухню: смотри! На окне в бутылке стояла ветка. Оказывается, он в пять утра пошёл во двор и выбрал там для меня самую большую. Я прыгала от радости. Может быть, ещё не всё потеряно...

А потом начались чудеса. Через два дня ветка покрылась тонкими прозрачными нежно-зелёными листиками. Ещё через несколько дней появились пушистые серёжки, проклюнулись белые лепестки. Я молилась на свою веточку, каждое утро бежала к ней, беспокойно оглядывала, ощупывала, меняла воду, разговаривала с ней, как с живой. И она это чувствовала, клянусь. И цвела, и благоухала. Никто не верил, что сухая обрубленная ветка способна на такое. Но я-то знала, в чём дело...



А потом из корней пня-обрубка вдруг пробился свежий побег. Он рос, креп, зеленел, тянулся ввысь изо всех своих слабеньких силёнок. Ему было очень трудно. Сушил тридцатиградусный зной, одолевали полчища тли, муравьев, густо облепляя каждую ветку, и мы с Давидом обмывали их ежедневно мыльной водой, поливали слабым раствором марганцовки. Усилия увенчались успехом, тля отступила, акация разрасталась, набирала силу.



По утрам я свешивала голову с балкона: как ты там, моя маленькая? По бокам возвышались каштан и вяз, казавшиеся теперь по сравнению с ней огромными. Они словно стремились прикрыть её своими пышными кронами, оградить от чужого враждебного мира. Каштан, прежде такой сдержанный от утяжелявших его свечей и плодов, теперь шелестел и трепетал, и махал мне приветливо и отзывчиво, не дожидаясь, пока я мысленно его об этом попрошу. А вяз уже дотянулся до кухонного окна и заглядывал в него, словно в глаза человеку, шепча что-то успокаивающее. Они явно всё понимали.



Может быть, кто-то сочтёт меня сумасшедшей. Но вот что я вычитала из книги интервью с Бродским: «Я не верю в бесконечную силу разума, рационального начала, – говорил поэт. – В рациональное я верю постольку, поскольку оно способно подвести меня к иррациональному. Когда рациональное вас покидает, на какое-то время вы оказываетесь во власти паники. Но именно здесь вас ожидают откровения. В этой пограничной полосе, на стыке рационального и иррационального. По крайней мере, два или три таких откровения мне пришлось пережить, и они оставили осязаемый след».

Об одном из таких «откровений» рассказывает и Анастасия Цветаева в своих воспоминаниях. В детстве Марина очень любила комнатные растения, выращивала их на подоконнике. Любимый цветок её был серолист, из семейства бегоний, листья которого усыпаны серебряным узором. И вот спустя много лет, в 1943-м, в ссылке, Анастасия увидела в доме у одной женщины в большой кадке цветок, любимый её сестрой, разросшийся в комнатное дерево – серолист. Она рассказала владелице дерева о Марине, и та подарила его ей. «Дерево стало моим», – пишет А.И. Цветаева. И вот однажды в тихую безветренную погоду, когда она сидела и рисовала Марину... Цитирую: «Внезапно, как бы в порыве сильного ветра, все ветви серолиста всплеснулись шумно. Все мы, поражённые, смотрели друг на друга, молча, я – оторвавшись от марининого портрета. Дерево медленно успокаивалось... Марина дала знать о себе?..».

И у меня было множество таких «откровений». Однажды я переписывала плёнку с моими песнями. В окно, как всегда, шелестела акация. Когда зазвучали слова: «О любимые прежде, пока я вас помню, жива, и вы тоже, пока я люблю вас, по-прежнему живы», я прибавила звук: «Мамочка, слышишь? Это про тебя». И вдруг – клянусь, это было, я не вру и не сошла с ума – ветка стала подрагивать в такт мелодии. Она сильнее раскачивалась там, где было крещендо, и утихала, когда заканчивалась строфа. Она слышала – в этом не было никакого сомнения. Но ведь этого не может быть!

Это было что-то выше логики, разума, что-то такое, что постигаешь сердцем, нутром, душой, всем своим существом. Плёнка кончилась. Я нажала клавишу. Со страхом взглянула в окно – а вдруг ветку просто качает ветер? Ветка была неподвижна. Её раскачивала музыка. Моё поющее и звенящее деревце... Вот когда ты мне отозвалось – из детства, из глубины времён... Это не выдумка, не бред, это какая-то непреложная тайна, которая открылась мне так, словно я это «отродясь знаю», как любила говорить Марина.

Вспоминается ещё одно утро. Было безветренно, и я, волнуясь, глядела в окно: неужели она мне не помашет, не может быть, чтобы

она не нашла способа этого сделать, дать мне какой-то знак, что видит меня, помнит, любит... И вдруг какая-то птица неизвестной породы, откуда ни возьмись – прыг на ветку! Посидела, раскачала её своим телом и – вспорхнула прочь, будто только за этим и прилетала. А веточка продолжала раскачиваться. И я словно увидела мамину лукавую озорную улыбку: «видишь, я придумала выход! Я здесь, не сомневайся!».



Точно такая же улыбка была у неё на одной из фотографий, где она решила изобразить, что якобы на пляже: в летнем халате, в соломенной шляпе и чёрных очках. В глазах светилось наивное торжество и лукавство: вот, мол, как я вас ловко провела! Но мама не учла, что за её спиной возвышалась тумбочка с телевизором, которые коварно разоблачили на фотографии её невинный обман. Ветка акации смотрела на меня с тем же неповторимым маминим выражением, я не могла ошибиться. Ну какие ещё нужны доказательства?!



Из «Рассказа о синем лягушонке» Ю.Нагибина: «Для тех, кто живёт по злу, жизнь – предприятие, но для большинства людей она – состояние. И в нём главное – любовь. Эту любовь уносят с собой во все последующие превращения, безысходно тоскуя об утраченных. О них скрипят и стонут деревья, о них вздыхают и шепчут травы, называя далёкие имена. Я всё это знаю по себе...».



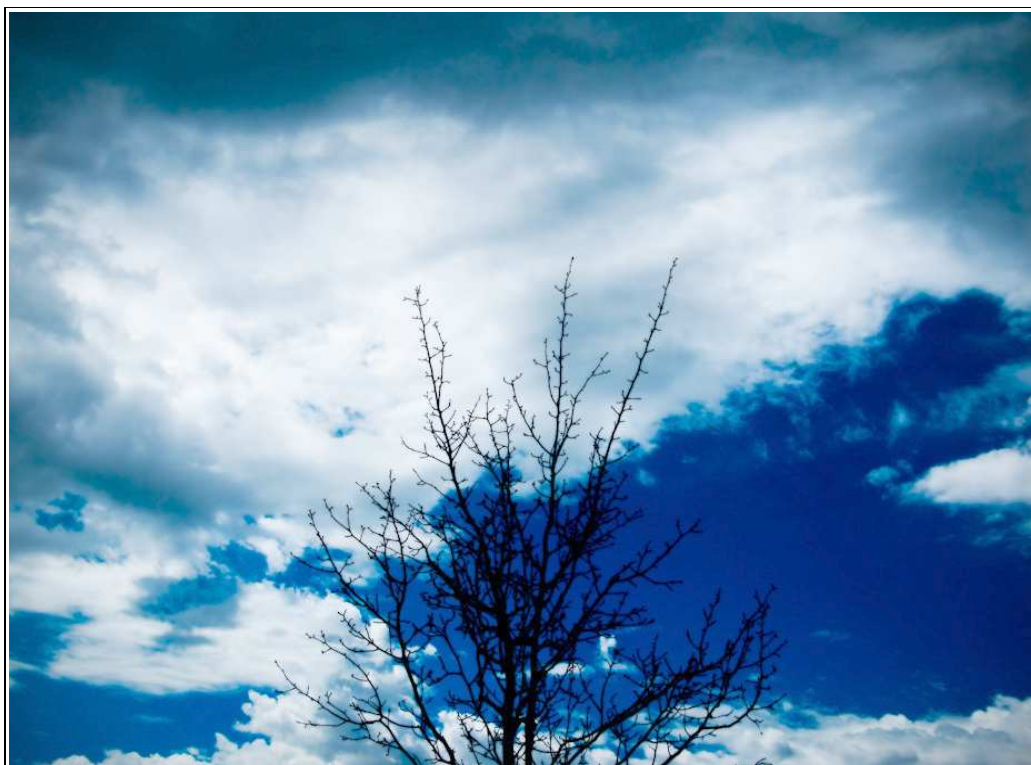
Сейчас моей акации нет, но это не важно. Как там у Новеллы Матвеевой? –

Туман и ветер, и шум дождя...
Теченье дней, шелестенье лет.
Мне было довольно, что от гвоздя
остался маленький след.

Когда же и след от гвоздя исчез
под кистью старого маляра,
мне было довольно того, что след
гвоздя был виден вчера.

Есть веточка на окне, которую осенью я пересажу в землю на маминой могиле. Есть хрупкий кустик под окном, который обязательно вырастет и достанет когда-нибудь до моего балкона. «Наши мёртвые нас не оставят в беде. Наши павшие – как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые».

Они – и мои мёртвые, и мои часовые, охраняющие меня от нелюбви, от забвения. «Что нужно кусту от меня?» – спрашивала Цветаева. Теперь я знаю, что. Моей души, моей памяти.



Не все ещё корни вырваны
из прошлого в жизни новой.
О сердце! Ещё не вырублен
твой розовый сад вишнёвый!